

Евгений Замятин

Уездное



Часть сборника
Мы (сборник)



Евгений Иванович Замятин

Уездное

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=613705
Замятин Е. И. Мы. Рассказы: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-32607-5*

Аннотация

«...Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.

– Вот, черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина. ...»

Содержание

1. Четырехугольный	4
2. С собаками	6
3. Цыплята	8
4. Смилоствивился	9
5. Жисть	11
6. В чуриловском трактире	13
7. Апельсинное дерево	15
8. Тимоша	17
9. Ильин день	19
10. Сумерки в келье	22
11. Брокеровская баночка	24
12. Монашек старенький	25
13. Апросина избушка	26
14. Вытекло веселое вино	28
15. У Иванихи	30
16. Ничем не проймешь	32
17. Семен Семеныч Моргунов	34
18. В свидетелях	36
19. Времена	37
20. Веселая вечерня	39
21. Исправниковы хлопоты	41
22. Шесть четвертных	43
23. Мураш надоедный	44
24. Прощайте	45
25. Утром в базарный день	46
26. Ясные пуговицы	47

Евгений Замятин

Уездное

1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать». А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

– Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

– Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно – года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы купаются. А ночью после – хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.

– Вот, черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен – первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

– Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь – со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка – ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет бедняга.

Вытянул Барыба – и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

– Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Черт глухой!

Барыба заговорил – одно за другим стал откалывать, как камни, слова – тяжкие, редкие.

– Адам и Ева. Между Тигром и... этим, Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

– Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

– Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

Домой Барыба не пошел. Уж знал – отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посадку броди, в монастырском лесу – днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена – ну и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре – побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком – рыщет по задам, загуменниками, огородами. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть – боже избави: хозяйшкa вон она – вон, грядущий полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома – на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли – вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день – сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни – целый день Барыба лежал в закуте своей ничком на соломе. Бывали дни – целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем чеботаревском дворе – с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят – чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

– Эй, кто там?

– Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им – уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе – ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать – как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседались, от перекорма ходить не может.

– У-ух... – железом по железу – заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь – и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда – в монастырь, к Евсею!» – осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит – а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

– Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

– Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

– Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах кутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

– Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

– Никак не можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку – одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах без колес – никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе – до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездил, по пятницам – в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин полово-пегий, и кучер Урванка – у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь – цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке – влупцует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить – Урванке первое удовольствие: потому – самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки – лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то и разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда – нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами – желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках – а уж изловит, на руку посадит и – первое ему удовольствие – духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый – и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят Урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет – заметил Урванка. А куда запропастились цыплята – и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята – и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп – и завершал, затекал цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнулся через забор.

– Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

– Ну, погоди же ты у меня! Я тебе – за цыплят за моих...

И поволок за шиворот – к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. Смилоствился

Кухарку – Анисью толстомордую – прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польку – так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали. Полька эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела в крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке – квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот: «Ох, господи-батюшка, помилуй...»

И смилоствился: какой-то топот и гвалт в сенях – и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба – увидел Чеботариху самое, что и вырваться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала – раскипелась, слюнями забрызгала.

– На цыпляточек, на андельчиков божьих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Не-си, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой – и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился – да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина – расправу начать.

А Чеботариха – от смеху слова-то не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла – и оступился смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

– Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком... – на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге – обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

– Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

– Са-апожников я... – и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. – За экзамен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... на балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

– Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому – сына родного, а? Тоже отец называется...

Пела – и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

– ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то – вот он: украдь да украдь цыпленочка – верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

– На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь мило-сливый, он простит. И я прощу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

– Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? – схватила Чеботариха Барыбину руку. – Ну, вот так вот: на лоб, на живот... – облапила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил руки в мягкое что-то, как тесто.

– Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то что на балкашинском дворе жизнь. На всем на готовеньком, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродить в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром – чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

– И что это в косынке вы все? – скажет Барыба.

– То-то тебя учили-то! Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда – ан глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, trebуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень – ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он – как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька как угорелая мыкается кругом.

– Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку. Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку:

– Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки – глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

– Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустит в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен – грохочет-громыхает по ухам телегой.

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду – и отсылает ее Чеботариха спать, чтоб глаза не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

– Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» – думает Барыба.

Но не повернуть тонушие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнувшим светом лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая дыра. Все лицо – один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне – лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврике возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

– Анфимушка, еще тарелочку скушай...

– Ох, и чтой-то стыдь во дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

– Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! Накося, вот водка с горчицей да с солью, вышей – первое средство.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

– Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь – и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба – Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь... Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку:

– Полюшка, поди – погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

– Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает – уж это значит ...

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец, так прямо руками развел:

– И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну и место же веселое, о господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уже кричит издали:

– Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человек. Маленький, востроносый, сидит – и не на стуле будто сидит, а так, на жердочке прыгает, вроде – воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

– Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша – зажег теплую лампадку на остром своем лице:

– Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один – рыжий мещанин, маклак лошадный, орал:

– Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду...

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

– Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

– За что же не любит-то?

– А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать – не может он, по катехизису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

– Ловко! – заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

– «Ты бы, – поп мне говорит, – лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать».

А я ему: «Зачем, – говорю, – мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих полезительней, потому, по Евангелию, за зло мое им господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах и ругался же поп!

– Так его, попа, так его, – ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, – полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

– А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношей верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

– Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, – сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой – ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон – все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

– Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местешко ему устроил, в казначействе писцом – ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

– И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю...

Чернобыльников почтительно протянул:

– К губе-ернскому?

Тимоше невтерпеж стало – влез в разговор:

– Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его наемни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

– Просил бы... Пок-корнейше просил бы! – сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

– «...Ан не пойдешь!» – «Ан пойду!» Ну, слово за слово, – об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играли. Наш франтик – к тестю: на ухо прошептал, будто за каким делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник – начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул энтим самым местом. Ох, господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел не глядя.

– Ну, еще помиримся, – сказал Тимоша. – И ничего ведь малый был. А теперь – на лбу кокарда, а во лбу – барда.

7. Апельсинное дерево

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки – баночка.

Посадила – давно уж, с полгода будет – в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками – да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

– Чудно. Было зерно, а вот...

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту – стала деревцо поливать супом, коли оставался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злущий-презлущий, чаю глотнул – и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

– Где кот?

Полька, не обертываясь, копошилась. Робяя, отвечала:

– Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где ж еще?

– Ты что это там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

– Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

– Ды-к это пельсин, барин...

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

– Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, возжаться? Выхватил с корнем деревцо да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

– Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у...

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору – да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим – и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов – и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь.

После солнца – да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым стенам, спотыкался:

– Полька, ты где? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где...

Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху – пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

– Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся как тряпичная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то – так, чтоб занять ей голову, отвлечь от того, что он делал:

– Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и ревь? Мы тебе вместо пельсина дай-кось ерань купим... Ерань – она... это самое... духовитая...

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

– Так, та-ак! Ревь теперь, ну, реви вовсю, – приговаривал Барыба.

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

– Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.

8. Тимоша

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.

– Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот так.

– Бивали, как же, – засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали – а теперь вот подика, сунься.

– То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя – ровно у курицы...

И завел свое – о Боге: нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины мудреные слова. Но слушал – тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уже дошел до самого своего до главного:

– Вот покажется иной раз – есть. А опять повернешь, прикинешь – и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробьиному головкой, теснило что-то.

– Одна видимость. Дойти до этого, брат, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат...

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.

Махнул Тимоша рукой:

– Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь... У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!

– Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?

– А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться – ни боже мой.

«Ишь ты, то-то он квелый такой», – и как-то увесисто почувял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее – так! Вот так!

У Тимоши, в комнатухе с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

– Мать где? – крикнул Тимоша. – Опять нету?

– К земскому ушла, приходили, – робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насупился:

– Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

– Мамаша не велела бутылку.

– Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул:

– Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка придет вот! Шляется...

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

– Вот – господу Бога искушаю. В больнице говорят – она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у господу Бога, рука на ребят несмысленных, – поднимется ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

– А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

– Ну, брат, собирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. Ильин день

Под Ильин день вечер – особенный, и благовест – свой особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стряпухи во всех домах пироги к завтраму пекут, а в небе Илья-пророк грома заготовливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-то опоздает, да не Чеботариха только: первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запрет лошадей Урванка.

Запрет, идет по двору – как раз мимо погребца. Глядь – а дверь открыта. Буркнул Урванка:

– Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябали. Люди Богу молиться идут, а они – на-ка тебе. Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

– А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить... – и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кось раскуси, что она такое означает.

– Чтой-то мудришь ты, Урванка! – сказала Чеботариха. Однако ж поплыла, шурша шелковым коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погребца.

– Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи... – Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

– А их-то как же, припереть там прикажете?

– Кого такое – их?

– Как кого? А Анфим-то Егорыча с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всеобщей сходить?

– Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней...

– Да вот разрази меня Илья завтра громом, коль ежели я вру.

– А ну, перекрестись?

Урванка перекрестился. Стало быть – правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоюет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

– Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

– Слушаю, матушка.

Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина.

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

– «Недугующих и страждущих»... И меня, стало быть, страждущую. Ах ты господи, ну и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть...

Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба как ошпаренный.

– Чай кушать пожалуйте, – сказал, ухмыляясь, Урванка.

«Неужто не сказал?» – подумал Барыба.

Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

«Ну, уж говорила скорей бы», – ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

– К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? – поглядела Чеботариха как будто и ласково.

«Измывается либо? А может, и впрямь – не знает?»

– Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола святые крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», – вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал, – рассказывал, как дуреха эта Полька супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни один раз.

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

– Да ты что, али рехнулась? – сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

– Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол – к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силясь сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.

– Проспали молебен-то Ильинский, а? Анфим Егорыч?

Может, оттого, что и правда – проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном, – стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

– Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем. – Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так – пирог сдобный. Голову набок – и сладким голосом:

– Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолишь их. А на том свете – он-то, батюшка, все припомнит, он, батюшка, в гиене серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?»

Вдруг Чеботариха распялила вовсю глаза и, брызгая слюной, закричала:

– Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, – нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба молча ворочал челюстями и думал:

«А ведь вчера поросенка-то зарезали – это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания Барыбина. Затопала, сидя, ногами:

– Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивца, а он – на-кися! На Польку – это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

– Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твоово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

Перед ильинскою грозою пекло солнце. Ждали – воробьи, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по Дворянской.

«Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?»

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости...

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, надела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то, себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно – валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. Сумерки в келье

Летом в четыре часа – самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет – жарынь несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатуший, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает – куда. А ноги несут – в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши – к Евсею в монастырь, от Евсея – к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький – виттопляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный.

– Ишь, пристал, наянный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать и чтоб денно и ночью о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый – в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами – замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

– Ф-фы! Да-к, к отцу Евсею-то в стакан муха того гляди и сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

– Да-к, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак там, гривенник поставят – и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей.

– Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то...

Евсей – сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире – и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

– Е-есть! Вот она, голубушка! Мой пятак! – и пальцем выловил муху из стакана. – Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь, было, мушку-то матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

– А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба – я те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча? – выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе – медяки. Псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Савка под-

тянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» – и тоже стал горестно подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

– Сто-ой! Стой – тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека...

Все, молча, усердно подтягивали, как раньше – «Свете тихий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая – старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает.

– Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал палец о полу подрясника.

– Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

– По мне, ребята, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба, малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

– Коли отдашь завтра... У меня есть малость денег-то, последние, – сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпятил стеклянные свои глаза.

– Да я, перед истинным вот, завтра отдам, у меня ведь есть, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. Брокеровская баночка

Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжанье пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади – Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.

– Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куда бы гожее было.

– Да я, малый, и то – в юнкора хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

– Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим...

– А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Во монахи поступили,
Самовары закупили...

Евсей заушмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде – куда там. Вчера – вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые мышки, порты крашенные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат, – настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач.

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Выскочил Евсей, пома-нил пальцем.

– Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож – и то куда-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь – во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам – от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.

– Тута, – сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокеровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.

«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

– А остатние – либо на помин души оставлю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.

«И на кой они ляд ему?» – думает Барыба.

12. Монашек старенький

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его – взяли и посадили тут на солнышке греться.

– Да тебе лет-то сколько, дедушка? – спрашивает Барыба.

– И-и, милый, позабыл я. Да вот, Тихона-то вашего Задонского помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, недаром!

– Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит – и станет, любуется, теплится перед ней.

«Дунуть, вот – и потухнет и свечка, и монашек», – думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то ныне непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот...

– Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

– И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

– Дед, давай я ночью с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

– Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть кому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли что там в церкви ночью... Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви?

«Ладно, подожду», – и ходит следом Барыба.

За всеобщей под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу – несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел – и потух ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка – спит. Шасть скорей в алтарь и ну – под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел. Крепко спит старый монашек – приучается уже смертным сном спать. Ничего не слышал старый монашек.

13. Апросина избушка

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше – Стрелецкий пруд, старые лозинки засели кругом, обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют утята.

У самого пруда, на стрелецкой слободской стороне, присуседилась Апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику и муж гостинец пришлет – трешну, пятишну. И письмо:

«И еще с любовью низкой поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне... А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Плюшей остаться в сверхсрочных...»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, – дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец: когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе. Весь день на ногах – обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», – думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка – лебеднянский разбойник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лушил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым-почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди, теперь уж все проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не остыла еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили – и к жбанчикам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, власть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы... «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидал...»

– То-оже выдумал в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихином заводе? Самая статья... – сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на Евсеевы деньги, не Бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой – знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу» и пошел на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно. Ходит, длинногачий, тощий, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник – фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

– А-а, эт-то вы? Прощение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

– Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал: «Ух и смазал бы тебя, кислая харя! Однако что говорить – образованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна, и, видать, каждый раз – новый».

14. Вытекло веселое вино

Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о Евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли; и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека – жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

– Анадьсь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидел он отца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвисли, стало быть – рожалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.

– Бесстыдный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись «в муху» – к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза – как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился – и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал он епитимью по пятнадцать поклонов за два раза – ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдо-сталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу:

– Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угощенье тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

– Куда тебя буревая несет? – спросил дьякон.

– Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь...

И впрямь – дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолоке.

– Иди, богатей, иди, предъяви-ка, – весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел – и обмер: Евсей – и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

– Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

– Украли, – сказал Евсей не Евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последние бумажки: для потехи оставил вор...

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пяточки опохмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение – будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

– Да как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь – хотя не хотя... Слободный был человек, а теперь...

– Да кто ж это такое тебя объегорил? – нагнулся дьяконок к Евсею.

– Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот... Он, больше некому. Кроме него и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом – и самовар неохота было вздуть – судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У Иванихи

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру заздравную. Зашептал:
– Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-ух, она известная, заговорит вора – в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

– Эка, спозарань поднял, – ворчал Евсей.

Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

– Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь: заговор – он натошак только силу имеет.

– Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим. Да и срамно – духовным-то.

Иваниха – старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов.

– Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно.

И возилась, стукотала горшками на загнетке.

– Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея вот обокрали. Не заговоришь ли вора-то? Слыхали мы...

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба – шубейку, запахивал Иннокентий на груди свою рясу.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычными своими глазами:

– Так ты-то при чем? Его обокрали – нам с ним вдвоем и остаться.

– Да я, матушка, что ж, я...

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменял бабьими мелкими шажками.

– Как звать-то? – спросила Иваниха у Евсея.

– Евсеем.

– Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь – его как звать?

– Анфимкой, Анфимом.

– Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми сучьями если его разостлать. А может – на воде? Да потом его, голубя, залучить да и попоить чайком на этой самой воде.

– Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

– Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычными низала воду в корец.

– На море – на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. В том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, пригвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолоке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

– Будя теперь, – сказала Иваниха. – Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

«Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!»

16. Ничем не проймешь

Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихomanка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь:

– Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

– Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

– Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

– Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы – ни боже мой, не пейте.

– Каким наговоренным?

– Да известно каким: на вора наговоренным.

– Эге! – смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье – дымок сизый, накурено: дьяконок веселый надымил.

– А, гостечки дорогие!

И, вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было – Барыбу уловлять.

– Чего это похудал ты, Евсей? Ай присушил тебя кто? – ухмыльнулся Барыба.

– Похудеешь. Не слыхал нешто?

– Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

– А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

– А вот – Савка сказал. Вот и узнал.

– Дурак ты, Савка, – обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все усталились и ждали: ну, сейчас...

Барыба помешал, хлебнул не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал – загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

– Чего ты? – поглядел Евсей, глаза у него были рыбы, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уж не остановиться, колотилось, зелено-туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать:

– Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

– Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

– Про что рассказывать-то?

– Сам знаешь про что.

– Ой, Акуля, чтой-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а поди-ка поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

– Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

– Эх, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у Апросиной калитки почувал вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Прислонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

– Да что ж это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в изголовье. На лбу мокрая, в укусе, тряпица.

– Болезный ты мой, – сказала Апрося жалобно и уютно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошок лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовье дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И правда ведь, чужой я ей, а сидела ночь, не спала...»

– Спасибо тебе, Апрося.

– И, что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядинной и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом.

Закрыл Барыба – и опять открыл глаза. В окна глядит жгучий летний день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело...

Заколотилось в голове еще жарче. Беспokoйно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

– Вона что? – удивилась она. – Да, может, вредно тебе? Ну-у, погоду, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и спокойно, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекишь. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

– Приходи ужо-тка вечерком.

– Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И чтой-то мне нужно было сделать – совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятенный выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывая что-то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала Анфим-Егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба – ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. Семен Семеныч Моргунов

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

– Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, и шитва-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша – он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ – хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

– Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой, в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет – готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире – одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов – это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так – прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть – сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеныча был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи – огромные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные – очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно: морг, морг, – будто совестился глаз своих.

Да это что – глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать – ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

– Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там или – чего лучше – несостоятельные. И уж не мытьем, так катаньем, а дойдет-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так, какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли Барыбины-Евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то ведь хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

– Это кто же будет?

– А это – так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю – а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задрезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», – подумал Тимоша.

– А раньше-то вы чем занимались? – спросил Моргунов Барыбу. Барыба замялся.

– А он у вдовы одной почтенной потешником был, – помог Тимоша, ковыряя иглой в шитье.

Моргунов опять задрезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

– Ничего такого особенного, дело торговое. Все у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба – хуже селедки или чем селедка – хуже совести? Все – товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

– Что ж, заработать хотите? – спросил Барыбу. – Дело найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный, годитесь как будто.

18. В свидетелях

Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу: вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, – он только руку поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А наутро стоял Барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутузку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал – Барыбу похваливал:

– Ты, брат, солидный очень да и упористый, кряжистый. Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.

И стал Барыбу с собой возить в соседний город, где палата была. Справил Барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке в этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал – и никогда не путался. Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да нет, куда: упрется – не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыби перья.

Жил Игумнов, слава Богу, как все. А под старость приключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну просто гувернантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с дочерью, прощения просил и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

– Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он второе завещание писал – обязательно это надо доказать. Свидетелей представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопался-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова, покойника, – из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал, – даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумновская вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему сощурила:

– Вы прямо благодетель мой.

К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда». Очень Барыба доволен был.

19. Времена

– Не-ет, до нас не дойдет, – говорил Тимоша уныло. – Куды там. Мы вроде как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слышать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют.

А пушай бьют. Так у нас на этот счет говаривали: «Это пусть уж себе они там в Вавилонях с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить».

И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут – как псы с цепи сорвались, прости господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках, на вате стеганных, – не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко ни валко, преют, как навозец, в тепле. Да оно и лучше-то: ребят-то, гляди, каких бутузов выхаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов – с газетой сидит.

– Вот, министра-то ухлопали, слышали али нет?

Тимоша улыбается – лампадку веселую зажег:

– Слышали, как не слышать. Идем, это, по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди, ведь тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся со смеху:

– Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать... очень жалко... Ох, уморил!

Помолчали, газетами пошуршали.

– А у нас – тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, – вспомнил Барыба.

Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать – знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле – все одно что мармелад во щи мешать.

– В гости бабу – еще туда-сюда, пустить можно. А в себя уж – ни-ни, – Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. – В себя пустил – пропал. Баба – она, брат, корни вроде лопуха пускает. И не вывесть никак. Так лопухом весь и зарастешь.

– Лопухом, – смеется, громыкает Барыба.

А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:

– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!

«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.

Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не то охальные, не то мученские.

– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч.

Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну, вот сейчас после дождя травка.

– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.

Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелие. И до всех одинаково ласков был Моргунов:

– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.

За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить – так где же любовь? И как же это праведники в раю остаются? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.

– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.

И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.

Тимоша доволен, смеется.

20. Веселая вечерня

Постом великим все злющие ходят, кусаются – с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки – две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не выпорют для праздника.

Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил да поздравлял хозяев с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает, а хорохорится, бодрится туда же.

– Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, – крушился Чернобыльников. – Гляди, какой стал.

– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут – в неведомые страны путешествовать по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.

– Ты бы хоть не пил-то так, вредно ведь тебе.

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстаёт, по старому своему обычаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел – веретье целое.

– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.

– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.

Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.

– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Тимоша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обществом, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:

– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, – чудак такой.

Казначейский зять вынул часы:

– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.

– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.

Взмахнул руками, вспорхнул, – воробейчик.

Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.

– Погоди-ка, орут наверху... чего там такое? – наострил Барыба свои большие нетопырячи уши.

Казначейский зять скорчил мину:

– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в общественном месте.

Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки со звоном – вниз. И сразу стихло.

– Ого, – прислушался Чернобыльников, – нет, тут что-то...

И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.

– Там они... вверху... приказали. И все... подняли руки и стоят...

Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.

Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреляют! И пустился наутек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.

– И-и-и! Держи-и...

И опять: тр-рак, тр-рак.

На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое лицо.

«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькнула мысль.

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоясанные, гончие.

– Держи-и его! Не пущай! Во-во-вот он!

Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накиннулись, притиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все, колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее – черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода у него вся склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.

– Унесли! А, дьяволы? Убег один, со ста рублями убег! А, дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежащему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, – вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками:

– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальчика-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:

– Ты что, заодно с ним? Заступник! Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слышали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были ненашенские. Так это зря, наверно, старик...

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадный, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:

– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.

И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.

Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:

– Иду я, значит, по Дворянской... Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

– Дураки, – сказал Тимоша. – Сплетники. А Чурилову, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни – убудет? А они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:

– Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-богу, в самый бы омут полез. Укошат – ну туда и дорога, все равно моей жизни полвершка осталось.

21. Исправниковы хлопоты

Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича – не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный, – и все из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то узнал с ним Иван Арефьич! То ему нельзя есть, другого нельзя – ну, сущая напасть.

В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

– Кажется, очень жирно.

И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся исстрадалась:

– Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? «Ну, уж и влетит теперь, должно быть, моему Ивану Арефьичу».

Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросенок. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куса себе накладывает.

– Ну-ка, еще кулебяки-то матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному пироги печь...

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложены бумаги.

Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым попадет.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:

– Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к исправничихе приставал:

– Уж я и ума не приложу, Маша. Поддай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он уберет? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:

– Геркулес... Нарзан... А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, ей-богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.

На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами – базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; заывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит. «Ах, господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется...»

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился.

– Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку...

Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».

– Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал – за этого самого, какой стрелял-то. Я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе...

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:

– Гм. Тимоша этот... Как вы думаете?

За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:

– Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера – базар перед самым кабинетом!

Иван Арефьич на цыпочках закрыл окно и позвал:

– Следующий.

Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:

– Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага. Ну а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали. Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Тимошкин платок, кисло поморщился и сказал, гнусава, с досадой:

– Какой платок? Я никакого платка не помню.

Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.

Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:

– Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.

Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:

– Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания... Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут...

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал: «Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера делать все жирным...»

– Так я говорю, полковник...

– Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно болит живот.

22. Шесть четвертных

Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.

– Давно туда и глядел.

– Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.

– И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица – обо всех печалится.

А Моргунов сказал:

– Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.

Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери – притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич – на чашку чаю. И умолял Христом-богом:

– Наставьте вы этого своего... как его там... на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними – да и с колокольни долой. А уж этот полковник с своими привередами: то ему не так, это не эдак...

Поторговались, сошлись на шести четвертных.

– Ну, чего там мало – не мало. И этому... как его... местишко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего ж еще лучше? Ну, писарем там, урядником...

А на другой день, за кроньерговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.

– Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.

– Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться – помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет – отказаться успеешь.

«А и правда, черт с ним, все равно, чахотка там эта... А тут бы местишко еще если заполучить... Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

– Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы – ни за что.

– Кабы не я... Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь...

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к Барыбину уху и шепотом:

– А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?

23. Мураш надоедный

Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого... Тут бы Барыбе и радоваться. А вот – нудило что-то, мешало. Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал: «Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».

Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль: «Да и жизни-то всего в нем полвершка».

И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.

«Опять провалюсь, второй раз», – думал Барыба.

И додумывал: «А мозговатый он был, Тимоша, это уж правду сказать».

– Почему «был»? Как же «был»?

Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоед-ный, томил.

– Почему «был»?

24. Прощайте

Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в стрелецкой своей комнатухе: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь – под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужасаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:

– Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?

– Получать, – сказал Барыба.

На суде Тимоша – ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая – поглядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:

– Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вдруг и сказал:

– Да. Ну, так прощайте все!

Никто не ответил.

25. Утром в базарный день

Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными – визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон – где-то идет крестный ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире, с пушкой-папиросой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:

– Преступники понесли законное наказание. Предупреждаю вас...

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подалее от исправника, голос сказал:

– Висельники, дьяволы!

– Ты это про кого, про кого это, а?

Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крыльцом – как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал сажень рыжий мещанин.

– Врут, не повесили, – убежденно говорил он. – Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками-зубами будет... А чтоб живой дал себе на шею вздеть – да нешто это мысленное дело?

– То-то вот и оно, образование-то, книги-то, – говорил старик из торговцев. – Тимошка-то не в меру умен был, бога забыл, вот оно...

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

– Молчал бы, сам в гроб глядишь, – сказал рыжий. – Гляди, из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:

– Развелись всякие... Кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили, да.

26. Ясные пуговицы

Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.

«Мать пресвятая! Неужели это правда! Балкашинский двор и все такое, а вот теперь иду я, Барыба, в погонах?»

Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.

От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядываясь. Отдал честь, балуясь:

– Господину уряднику.

А Барыба захохотнул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.

– Давно произвели?

– Да вот дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь – форму шить.

– Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.

Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня явиться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонями. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:

– Иван Арефьич у себя?

– Никак нет, уехали на убийство.

И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, – будочник вежливо козырнул.

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же – чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, – разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как, бывало, в уездом.

– Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый – прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком – по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минутку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонями, с ясными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал не узнал, кто его знает – молчит.

– Чего надо? – буркнул.

Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.

– Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь? Однако теперь вот – видишь.

Три дня, как произвели.

Старик высморкался, вытер пальцы об фартук и спокойно сказал:

– Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.

Опять посмотрел поверх очков спокойно:

– И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.

Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке:

– И про портного, как же, как же.

И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной:

– Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу моему подступать. Пошел во-он, вон!

Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял долго, никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.

Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.

В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:

– Ну и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-плевать...

Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.

В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.

– А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, – бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желвачки.

Приказчики опять весело грахнули.

Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке – пьяными, спотыкающимися ударами.

Подскочил половой, Митька – скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтенье другой щекой – господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.

– Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им не п-пзволю смеяться. Й-я им... У нас теперь смеяться с-строго не д-дозволяется... Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громяхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.

